




ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

днажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зи-ночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, как берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному

и ей дал посвистеть. Ещё я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и чёрных. Ещё у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Ещё я принёс с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнёт топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдёт. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной это

постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка, когда увидела у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

— Заячья...

— А хлеб — лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть:


— Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой чёрный хлеб дочи-ста. Так и пошло у нас: Зиночка, копу-ля такая, часто и белый-то хлеб не берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!



ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ

 Расскажу случай, который был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы. Я и питался всё время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюёт и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой:

— «Кашки хочешь, дурашка?»

Он сказал бы:

— «Хочу».

А он только жёлтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну, ладно, — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда. Полез я за крупой в сундук, а там нет ничего.



Вот как воры обчистили, половинка огурца была на тарелке, и ту унесли. Лёг я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел, лицо всё зелёное стало.

— Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.


Открываю окно, и хватать его. А он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-раш-ка?





КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ

ада, старый пойнтер¹ десяти лет, — белая с жёлтыми пятнами. Травка — рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада — спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!», она на одно мгновение обалдеет. И в это время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет

¹ Пóйнтер (*английский пойнтер*) — порода охотничьих собак, используемых для охоты с ружьём на пернатую дичь.

словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь? Хозяин зовёт!»

Сегодня я вышел из дому и крикнул:

— Лада, Травка, горох поспел, идёмте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох; горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается — глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберёт гороху и жуёт, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберёт весь до зёрнышка.

Вот и теперь я беру толстый зелёный стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берёт в рот стручок и выплёвывает. Второй даю — и второй выплёвывает. Третий стручок даю Ладе. Берёт. После Лады опять Травке даю. Берёт.


И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молотить горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зёрна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.



ЖУРКА

аз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он её проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвёртую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые, колхозные работы ходит с ней, и за водой.

Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребёнку, и без него ей уже скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно:



«Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так живёт у нас журавль, а подрезанные крылья его всё растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может.

И в слёзы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

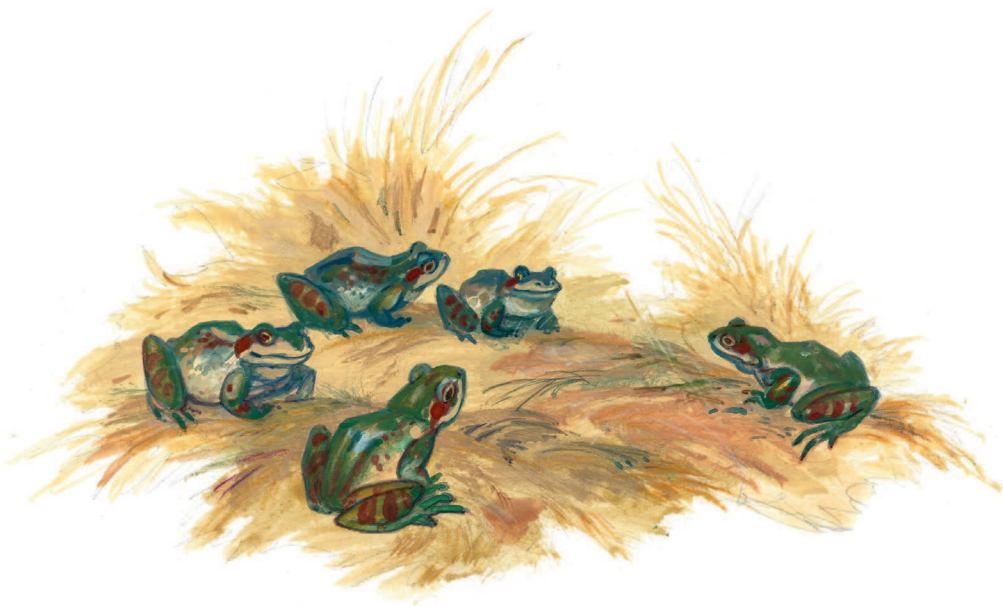
— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услышал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками.

В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза¹. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.



¹ Картуз — головной убор с козырьком.



ЛУГОВКА

Летят по весне журавли. Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое¹.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит ввиду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной

¹ Па́хота под ярово́е — обработка земли весной для посева сельскохозяйственных культур.

во всю полосу белые и чёрные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьётся надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я.

— Чьи вы, чьи вы? — кричит чибис.

— Я-то, — отвечаю, — свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашёл в тёплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась, и — в сторону плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле пять яиц. Вот ведь как у них: невитые гнёзда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца — чисто, как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнёс и яйца не тронул. Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и пять яиц.

Жена говорит:

— Вот бы поглядеть!

— Погоди, — отвечаю, — будем овёс сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овёс, жена боронит¹. Когда я дошёл до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

— Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри. Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овёс на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку садить² увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегаёт за канавой по лугу, мы не глядим на неё: жена садит, я запахиваю.

¹ Боронить — разрыхлять, обрабатывать вспаханную землю специальным сельскохозяйственным орудием — бороной.

² Садить (*простореч.*) — сажать.

Вдруг слышим — во всё горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка-баловник гонит по лугу пятерых чибисёнок, серенькие, длинноногие, и уже с хохолками, и всё как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

— Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, — думаю, — схватит их Кадошка!» А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то!

Чик-чик-чик ножками — и на той стороне. То ли вода ещё была холодная, то ли Кадошка ещё молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подросли и отозвали Кадошку.



ЗОЛОТОЙ ЛУГ



нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава.

Бывало, идём куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту.

«Серёжа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой».

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать.



К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое.

Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.



ПЕРВАЯ СТОЙКА

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что, когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, поворачивая голову то на один бок,



то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич, — сказал я, — кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберётся с духом да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевёл глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мёртвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в тёмный подвал?

— Что же делать-то, — спросил я, — разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?»



Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мёртвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживёт и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка. И чудится ему, будто кирпич шепчет: — Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому пёсику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали, — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве ещё раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мёртвый и безопасный.